

## ЧЕХОВ И ПУШКИН

Существуют очень отрывочные краткие и чрезвычайно общие сведения о том, как относился Чехов к творчеству Пушкина, было ли какое-то прямое воздействие Пушкина на художественную систему Чехова. Отдельных работ, в которых особо рассматривалась бы такая тема, не существует, хотя интерес к ней заметен у многих ученых. Интересные замечания по этой проблеме встречаем в работах Б. В. Томашевского, С. М. Бонди, А. С. Долинина, Б. С. Мейлаха.

Сам Чехов говорит нередко о Пушкине, о его стихах, его героях, но слова эти непосредственно почти не связаны с его собственными творческими планами и решениями. Кроме того, почти все сказанное Чеховым о Пушкине, известно нам лишь из писем, а в письмах Чехов далеко не все говорит прямо и всерьез: даже самые серьезные строки чеховских писем часто окрашены иронией. Может быть, единственная самая «прямая» и самая безусловная оценка Пушкина — поэт была дана Чеховым однажды в разговоре с мальчиком, сыном Л. А. Авиловой. Мальчик с наивной гордостью показывает Чехову новую книгу: — «Это стихи. Вы любите стихи, Антон Павлович? — Да, я очень люблю стихи Пушкина. Пушкин — прекрасный поэт»<sup>1</sup>. Разговор идет так же, как он возможен и между двумя взрослыми, но здесь вне сомнений и искренность обоих собеседников, и естественность, и простота взрослого, который говорит как будто только самые известные и общие слова, боясь нарушить своей «авторитетностью» ясность первой встречи с Пушкиным. Что Чехов любил Пушкина — кажется истиной, не подлежащей обсуждению и спору. Но совсем другой и несравненно более неясный вопрос — как это отразилось на личности художника, на его творчестве.

---

<sup>1</sup> Л. А. Авилова. А. П. Чехов в моей жизни. А. П. Чехов в воспоминаниях современников, ГИХЛ, М.—Л., 1960, стр. 284.

Самое значительное и общеизвестное чеховское замечание в связи с Пушкиным имеет прямое отношение и к его собственному творчеству. Чехов говорит в письме к Я. П. Полонскому о том, что «... все большие стихотворцы прекрасно справляются с прозой... (...) Лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка», не говоря уже о прозе других поэтов, прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изяшной прозой»<sup>2</sup>. Очевидно, речь идет не о формальных признаках родства (метр, рифма), а об особом поэтическом настрое речи, поэтической значимости слова, какая была у Пушкина и Лермонтова, Чехов не мог пройти мимо этого свойства русской литературы: лиризм, поэзия чеховских рассказов незримо связаны с русской поэзией, в том числе и с поэзией Пушкина.

«Среди великих русских прозаиков, — как заметил А. И. Роскин, — не Тургенева и даже не Гоголя, а чаще всего именно Чехова называли поэтом»<sup>3</sup>. Характерной особенностью чеховского стиля Ю. Олеша считает внезапное появление в повествовании нескольких поэтических строк, когда «внезапно открывается в повествовании светлое поэтическое окошко»<sup>4</sup>. Такие поэтические, «полные щемящего света окошки» можно увидеть почти в каждом рассказе Чехова с конца 80 гг. В повести «Дуэль» в сознании человека, оказавшегося в атмосфере вражды и отчуждения, вдруг возникают воспоминания о детстве: «... в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбежал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь: они хохотали от восторга...» (VII, 410). Это не обязательно видение чего-то необыкновенно прекрасного, светлого, гармоничного. В рассказе «Студент» герой представляет «тихий — тихий, темный — темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...» (VIII, 347). Но это всегда некая конденсация жизни в поэзию, и она-то приближает слово Чехова к пушкинскому слову. Только приближает, потому что связь Чехова с Пушкиным лежит глубже, она основательнее, чем даже близость стилистическая.

Наиболее интересны те случаи, когда пушкинское поэтическое слово звучит у Чехова непосредственно. Тогда эта «основа» связи двух художников как бы всплывает на поверхность, и ее легче увидеть и осознать.

Многие отрывки из рассказов и повестей, строки из писем,

---

<sup>2</sup> А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 20 т., ГИХЛ, М.—Л., 1944—1951, т. XIV, стр. 18. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

<sup>3</sup> А. И. Роскин. А. П. Чехов. Статьи и очерки. ГИХЛ, М., 1959, стр. 209.

<sup>4</sup> Ю. Олеша. Заметки писателя. Повести и рассказы, М., 1965, стр. 450.

связанные с именем Пушкина, кажутся у Чехова случайными. Но всегда ли они случайны?

Строка из пушкинского «Воспоминания» в письмах Чехова встречается дважды. И в первый раз в письме от 10 мая 1891 года, где одновременно Чехов сообщает, что пишет «роман» (XV, 200). Комментаторы писем Чехова отмечают, что здесь идет речь о повести «Дуэль» (XV, 517). Одна из центральных глав этой повести имеет эпиграф, и этот эпиграф — отрывок из стихотворения Пушкина «Воспоминание». Что Чехову необходимы были здесь эти пушкинские стихи, что они здесь имеют и большой смысл, и значение — в этом убеждает сама повесть «Дуэль».

Повесть эта очень сложная, полная недоговоренности и вопросов, она вызывает у многих критиков и читателей Чехова споры и недоумения. Отзывы современной Чехову критики и противоречивы, и не всегда убедительны. Больше всего занимает критиков главный герой повести — Лаевский. И. Ясинский считал, что «Дуэль» «представляет собою полемический ответ художника на «Крейцерову сонату» графа Толстого, что «автор видит панацею всех бедствий, которые выпали на долю героя повести, Лаевского, и героини, Надежды Федоровны, в законном браке»<sup>5</sup>. Критик «Русского богатства» П. Перцов назвал Лаевского «лишним человеком», «прямым потомком Онегина, Печорина, Рудина»<sup>6</sup>. Интересно, что сообщая о первоначальном замысле повести, Чехов сам связывает ее содержание с именами Печорина и Онегина: «Мельком говорю (...) о семейной жизни, о неспособности современного интеллигента к этой жизни, о Печорине, об Онегине, о Казбеке»... (XV, 239). Тогда может быть, прав критик, называвший Лаевского вариантом «лишнего человека»? Но известно, что даже к самому сочетанию слов «лишний человек» Чехов относился очень насмешливо. В письме А. С. Суворову, написанном незадолго до упомянутого выше письма, он говорит о Мережковском: «Меня величает он поэтом, мои рассказы — новеллами, моих героев — неудачниками, значит, дует в рутину. Пора бы бросить неудачников, лишних людей и проч, и придумать что-нибудь свое». И далее: «Делить людей на удачников и неудачников — значит смотреть на человеческую природу с узкой, предвзятой точки зрения»... «Надо быть богом, чтобы уметь отличать удачников от неудачников и не ошибиться»... (XIV, 217).

Что-то более важное, вопросы и темы более значительные и новые, — чем много раз повторенный, изученный — «лишний человек», «неудачник» — занимало Чехова, когда он на-

---

<sup>5</sup> М. Белинский. (И. Ясинский). Новые книги. Труд, 1892, № 2, стр. 479.

<sup>6</sup> П. Перцов. Изъяны творчества. Русское богатство, 1893, № 1,

чал повесть «Дуэль». Эта была повесть, в которой был и романтический Кавказ (самый «литературный» фон для событий, какой только можно было вообразить), и была дуэль двух противников, самое значительное событие повести (литературная традиция такого сюжетного «узла» — дуэли — также связывает Чехова со многими его предшественниками, в том числе и с Пушкиным). Всякое литературное прикрепление замысла повести было бы произвольным, несмотря на то, что сам автор связывает повесть и с Л. Толстым, и с «Онегиным» и «Печориным» — литературные ассоциации здесь безграничны. Прямой сюжетной связи с Пушкиным в повести «Дуэль», разумеется, нет.

Слова о неудачниках и лишних людях в повести первым произносит Лаевский, «неврастеник и белоручка», человек, которому нужен самообман, которому нужно хоть как-то, хоть фальшиво и банально, оправдаться перед собой, потому что его замучила ложь и неопределенность запутанного положения. Ему хочется утешить себя, успокоить совесть. «Виноват ли я?» — спрашивает он себя и ссылается при этом на Толстого и Шекспира. Он умен и видит ложь, свою и чужую, но исправить все это считает возможным через новую ложь. Он запутался, отчаянное и безвыходное его состояние еще мучительнее оттого, что его враг, его ненавистник фон-Корен ненавидит Лаевского с самоуверенной жестокостью, с безукоризненной логикой, последовательностью и без тени сомнения в правоте. Фон-Корен не просто ненавидит, но проведует ненависть, возводит ее до «научной» теории, и, как кажется нервному, замученному Лаевскому, чуть ли не преследует его ненавистью. Фон-Корен тоже говорит о «лишних» (VII, 343), но это слова, в которых гадливое отрицание. Чтобы человек уместился в «теорию» Фон-Корена, зоологу приходится намеренно упрощать, иначе ничего не получается: понять Лаевского ему не нужно, ему не нужно думать всерьез о Лаевском, «нравственный остов» Лаевского ему безукоризненно ясен (VII, 343). В его идее «улучшения человеческой породы» нет ничего от человечности, здесь «страдание не в счет»: Фон-Корен уверенно берет на себя право судить о человеке безапелляционно, судить с сознанием того, что сам я хорош, нормален и сужу потому, что ты — хуже, потому что не относишься к «умственно и нравственно здоровым»... Острота и зловещий тон суждений зоолога усилены логикой, тяжелой последовательностью, внешней разумностью его слов — логика его суждений, проводит к оправданию убийства, убийства себе подобных (...«любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого»... (VII, 405).

Между Лаевским и Фон-Кореном должен состояться поединок. XVII глава повести, в которой накануне дуэли Лаевский

творит нелицемерный суд над собой, начата пушкинскими стихами, поставленными в эпиграф.

О стихах Пушкина до XVII главы говорят и сами герои повести, упоминают их в споре, произносят вслух пушкинские строки. Они говорят о стихах «Тиха украинская ночь», и Лаевский соглашается с Фон-Кореном, что это прекрасно, что здесь такое богатство красок и звуков, которому, по словам Фон-Корена, природа «должна придти и в ножки поклониться» (VII, 359). Пушкинские стихи оказываются вне спора, выше стремления враждующих героев противоречить друг другу. В минуту временного, мнимого внутреннего облегчения, веселости Лаевский, забывая об ужасе своего безвыходного положения, с легкостью и кокетством произносит фразу, в которой звучит и пушкинская строка: «Роскошный пикник, очаровательный вечер, — сказал Лаевский, веселя от вина, — но я предпочел бы всему этому хорошую зиму — «Морозной пылью серебрится его бровь воротник» (VII, 364).

Но это — Пушкин в мыслях и словах героев, немного привычный, чуть сглаженный этой привычностью, Пушкин как необходимая составная часть сознания и памяти каждого интеллигентного человека. И никакого, даже косвенного отношения к системе мыслей автора повести здесь эти стихи не имеют. В эпиграфе же Пушкин дан от автора, автор как бы «проверяет» своих героев этими стихами. Это стихи, которым при их прямой независимости от восприятия, мыслей и чувств героев (эпиграф), придана и дополнительная новизна, как бы первоизданная чистота и высота, хотя именно эти пушкинские стихи сами по себе уже безгранично глубоки и значительны.

При чтении XVII главы происходит невольное сопоставление стихотворения «Воспоминание» с внутренним монологом Лаевского. Вся XVII глава могла бы показаться не по-чеховски приподнятой, даже мелодраматичной (красивая гроза ночью, воспоминания о детстве, письмо матери перед дуэлью), но эпиграф все меняет. Размышления героя, суровые и беспощадные, звучат торжественно и неумолимо, в них та предельная правда и честность, какая возможна и необходима рядом с пушкинским «Воспоминанием». «Что в моем прошлом не порок? — спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты.

Гимназия? Университет? Но это обман. Он учился дурно, и забыл то, чему его учили. Служение обществу? Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалованье получал даром и служба его — это гнусное казнокрадство, за которое не отдадут под суд.

Истина не нужна была ему, и он не искал ее, его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала; он, как чужой, или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей

жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе, он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, не сделал людям ни один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями, и, чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь»...

«Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения»... (VII, 411).

С чеховским героем произошло то, что обычно называют прозрением, очищением, в нем просыпается совесть перед лицом несчастья, перед ужасом возможной и близкой смерти. Он за ночь перед дуэлью пересматривает заново все пережитое им, и состояние, образ мыслей и чувств, которые приходят к нему в эти часы, знакомо каждому человеку, способному понять лирическую глубину стихотворения «Воспоминание». Это состояние может и не быть знакомо, но оно не может не быть понято и не может быть непонятно через пушкинские стихи. Стихи Пушкина заставляют поверить в чеховского героя. Иначе, наверное, было бы странно и трудно поверить, понять, почему Лаевскому, отчаявшемуся человеку, который ночью был близок к самоубийству, утром «хотелось вернуться домой живым». Ничтожный и жалкий, изолгавшийся человек поднят Чеховым до высоты того мучительного и горестного счастья, которое Пушкиным открыто в стихотворении «Воспоминание», которое выражено в единственно возможных стихах:

«...в уме, подавленом тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно передо мной  
Свой длинный развивает свиток.  
И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю.»

Потому странным кажется недоумение критиков, недовольных концом повести, «метаморфозой» Лаевского — они видят в повести «нечеховское», искусственное, художественно неоправданное перерождение и обновление героя, перерождение его характера<sup>7</sup>. Судьба героя у Чехова не поддается предвидению, заранее рассчитанному, да Чехову и не важно было «перерождение» Лаевского. Можно ли называть «обновлением» то состояние, в котором мы застаем Лаевского и Надежду

<sup>7</sup> П. Перцов. Изъяны творчества. Русское богатство, 1893, № 1; Н. Шапир. Чехов как реалист-новатор. Вопросы философии и психологии, 1905, кн. 79—80; М. Белинский. Новые книги. Труд, 1892. № 2.

Федоровну в конце повести? Оба они выглядят жалкими. Оба они по-прежнему несчастны, но в их жизни исчезла ложь, самое большое и самое мучительное несчастье. Для Чехова важно, что Фон-Корен, уверенный в себе, в том, что он «не изменил своих убеждений», все же приходит к мысли: «никто не знает настоящей правды». И слова эти откликаются в сознании Лаевского, когда тот смотрит на отплывающую лодку. Доплывут ли люди до «настоящей правды» — в этом нет уверенности ни у автора, ни у героев, и повесть заканчивается как будто ничего не значащими словами — «Стал накрапывать дождь». Вопросы поставлены художником, но не решены.

Незадолго до того, как Чехов сообщил Суворину, что начал писать «Дуэль» («роман», превратившийся затем в повесть «Дуэль»<sup>8</sup>) в письме к тому же Суворину Чехов говорит о том, что для художника обязательна только «правильная постановка вопроса». Чехов не отказывается от роли судьи, но, по его мнению, «суд обязан правильно ставить вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус» (XIV, 208). Образец такой «правильной постановки вопроса» для Чехова — «Евгений Онегин» и «Анна Каренина». «Евгением Онегиным», — пишет А. С. Долинин, — Чехов оправдывает свой метод «постановки», но не «решения вопроса»<sup>9</sup>.

Чехов не отказывается от роли судьи, и в той же повести «Дуэль» характер чеховского суда можно понять. Самая драматическая и острая сцена — момент дуэли — сделана в этом смысле блестяще.

Фон-Корен как-то рассказал дьякону, простодушному молодому человеку, о кротах: «Интересно, когда два крота встречаются под землей, то они оба, точно сговорившись, начинают рыть площадку; эта площадка нужна им для того, чтобы удобнее было сражаться. Сделав ее, они вступают в ожесточенный бой и дерутся до тех пор, пока не падает слабейший» (VII, 381). Этот рассказ как бы кратко формулирует любимую и главную идею Фон-Корен — об уничтожении «слабых». И когда дьякон, тайно пробравшись к месту дуэли, видит, как «противники, при всеобщем молчании заняли свои места», он вспоминает — «КРОТЫ» (VII, 421). В этом «кроты» произнесен строгий и беспристрастный суд и над «теорией» Фон-Корена, и над нелепостью происходящего, когда два «порядочных человека» должны стрелять друг в друга. Это какой-то очень значительный, высокий суд, который не может и не должен решать все вопросы, но законы этого суда заставляют дьякона с отчаянием крикнуть из своей засады: «Он убьет его!» И тогда все увидели дьякона, как он «бледный, с мокрыми, прилипши-

<sup>8</sup> См. комментарий, т. XIV, 534.

<sup>9</sup> Русские писатели XIX века о Пушкине, Л., Гослитиздат; 1938, стр.

ми ко лбу и к щекам волосами, весь мокрый и грязный, стоял на том берегу в кукурузе, как-то странно улыбался и махал мокрой шляпой» (VII, 422). Так, возможно, представлял себе Чехов «правильную постановку вопросов» в литературе, которой он учился у Пушкина.

Что же касается внешнего сходства, то оно обычно определяется словами — точность, краткость, объективность, простота. Но слова эти, к сожалению, не могут выразить значительно более тесную связь между творчеством Чехова и Пушкина, чем та, которая иногда возникает при прямом воздействии, сюжетном заимствовании. Эта связь более значительна и глубока, чем прямой художественный спор или безусловное поклонение авторитету большого и общепризнанного художника.

---

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ им. С. М. КИРОВА

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРЫ

---

# ПУШКИНСКИЙ СБОРНИК

ПСКОВ

---

1968